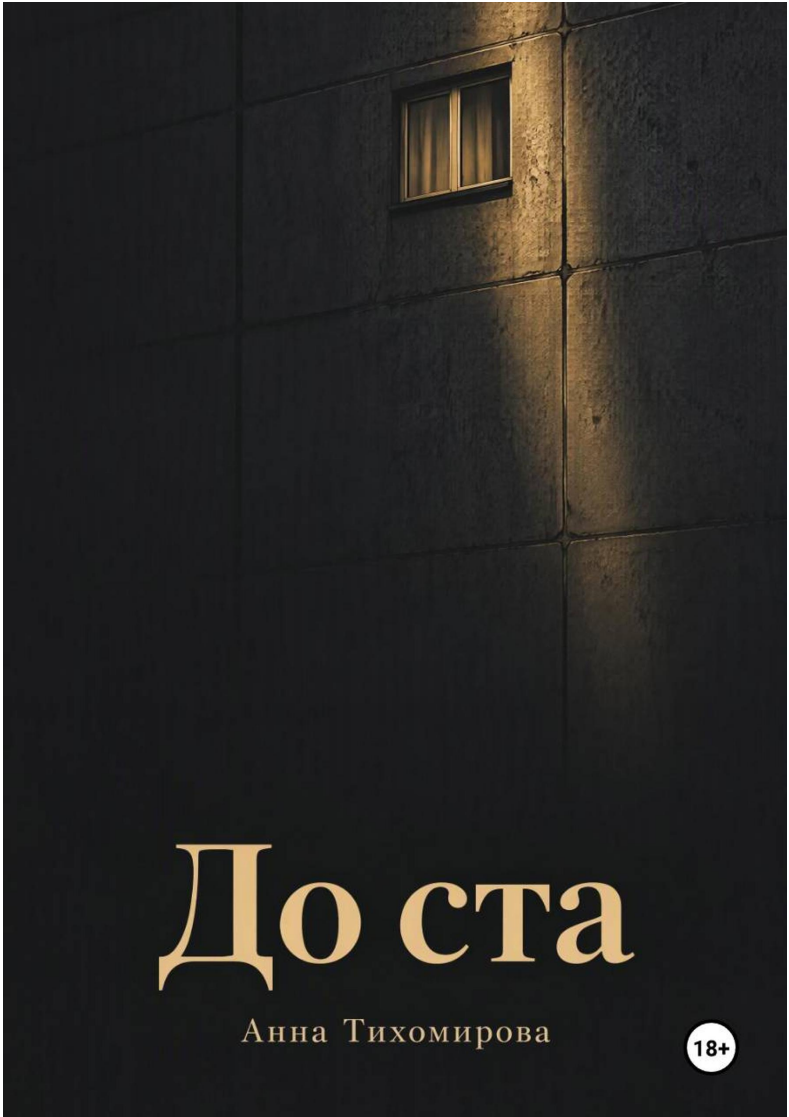

До ста
Анна Тихомирова
18+

# Анна Тихомирова
# До ста

*https://litres.ru/74880397*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Основано на реальных событиях.

Вере было семь, когда она научилась считать до ста. Досчитаешь — и крик за стеной кончится.

В сорок у неё панельная однушка на девятом этаже, двое сыновей, полторы ставки в школе и семнадцать лет брака за спиной. Она ушла от мужа с двумя пакетами и твёрдым намерением больше ни от кого не зависеть — и почти поверила, что этого достаточно.

А потом на футбольном поле, где играют их сыновья, появился Артемий: разведённый, усталый, умеющий молчать, варить солянку и никуда не торопиться. Он не спасает её — он просто спрашивает: «Ты зачем со мной?»

Психологическая драма о том, как в сорок лет заново учатся говорить «я хочу» вместо «надо», доверять после семнадцати лет недоверия и жить, не считая до ста.

Строку про реальные события я поставил первой, потому что в выдаче Литрес видно только начало аннотации; если она покажется вам слишком зазывной в этом месте, её можно перенести в самый конец.

# Содержание

Глава 1. Шаги 4
Глава 2. Поле 11
Глава 3. Ветровка 17
Конец ознакомительного фрагмента. 22

# Анна Тихомирова
# До ста

## Глава 1. Шаги

*Тем, кто вырос в доме, где считают до ста. И тем, кто научил их считать по-другому.*

*«Ребёнок учится тому,*
*Что видит у себя в дому:*
*Родители — пример ему».*
*Себастьян Брант*

Ночью в моей квартире слышны шаги. Дом панельный, слышимость отличная. Я по звуку узнаю всех: сосед, который живет этажом выше, идёт тяжело и на площадке делает паузу; курьер бежит через две ступеньки; старший сын возвращается поздно и всегда задевает плечом перила. Я лежу, слушаю и не встаю.

Прислушиваться к шагам приходилось часто. Мы жили в посёлке, в доме на две семьи. Вечером, когда за окнами уже стояла темнота, я различала отца задолго до того, как он брался за ручку двери. Сначала хлопала калитка, потом на утоптанной дорожке хрустел гравий. Шаги были ровными

или сбивчивыми, с запинками.

Дальше он поднимался на крыльцо, и ступени скрипели под его весом, каждая на свой лад. В сенях половицы прогибались с глухим стоном, и по одному звуку я уже всё понимала. Идёт ровно, тяжело, без остановок — можно выдохнуть, поверить, что сегодня всё обойдётся. А если он спотыкался на крыльце, долго шарил руками по косяку, не попадая ключом в замок, я уходила в комнату, ложилась и старалась не шевелиться.

Мне было семь лет, и слова «алкоголик» я тогда ещё не знала. Зато отлично понимала другое слово: «сегодня». Каждое утро оно повисало в воздухе, и до самого вечера было непонятно, как это «сегодня» обернётся — тишиной или бедой.

Отца звали Николаем Степановичем. Он работал на заводе фрезеровщиком, в цехе, где круглый год пахло раскалённым металлом и машинным маслом. Завод был в городе, добираться приходилось на рабочем автобусе, который уходил с остановки в шесть утра и привозил всех обратно затемно. Я помню, как пахли его руки: даже после мыла под ногтями оставалась чёрная каёмка, а от одежды ещё долго тянуло железной пылью. Роста он был невысокого, но коренастый, плотный, с широкими плечами и тяжёлыми ладонями, которых я боялась больше всего на свете. Лицо обветренное, с глубокими складками у рта, а глаза светло-серые, и смотрели они всегда куда-то мимо, будто он не видел ни меня, ни

маму, ни эту комнату. Прямо он смотрел редко, только когда злился, и тогда взгляд упирался в собеседника, как гвоздь. Мама говорила, что в молодости он был красивым, но я этого не застала. Его молодость осталась где-то в детдоме, за высоким забором, о котором он никогда не рассказывал.

Мама была совсем другой, но такой же усталой. Её звали Викторией Павловной, она работала на почте — в маленьком кирпичном здании в центре посёлка, где пахло сургучом, пыльными газетами и клеем. Она принимала переводы, выдавала пенсии, раскладывала письма по деревянным ячейкам. И делала это так же молча, как жила. Домой возвращалась к вечеру — в пальто с потёртыми рукавами, с тяжёлой сумкой, в которой носила хлеб и что-нибудь к ужину. Я помню её руки: маленькие, со вздувшимися венами и вечно обветренными пальцами. Помню, как она снимала у порога туфли и распрямлялась, упираясь ладонью в поясницу. Она была невысокой и худой, со светлыми волосами, которые рано начали седеть. Лицо у неё было тихое, преждевременно состаренное. Но иногда, в хороший вечер, в нём вдруг проступала какая-то девичья мягкость. И тогда я понимала, что она тоже была когда-то молодой и, наверное, другой. Говорила она мало, почти шёпотом, и улыбалась редко — одними губами, не глазами. Меня она любила, я знала это без слов: по тому, как ставила передо мной тарелку и отдавала лучший кусок; по тому, как ночью, думая, что я сплю, поправляла на мне одеяло. Просто у неё не было сил показы-

вать эту любовь громче.

Костя, мой брат, был старше меня на два года, и его били больше. Он переживал это иначе: не прятался, а уходил. Надевал куртку и исчезал до позднего вечера, когда всё уже было кончено. Я не могла так уйти, я умела сидеть тихо. Мне доставалось меньше, ему — больше, и это навсегда осталось между нами. Теперь он живёт в городе, женат, у него есть дочь и своя квартира. О детстве мы с ним не говорим и практически не общаемся.

Наш дом стоял на краю посёлка, последний от остановки. Кирпичный, приземистый, на две половины: в одной жили мы, во второй — соседи, семья с двумя девочками. У каждой семьи был свой вход, своё крыльцо и свой кусок огорода за домом. Наш двор отделял от дороги покосившийся штакетник. Вдоль него росла старая вишня, которая каждую весну осыпала землю белым цветом, а осенью роняла на грядки тёмные ягоды.

Внутри наша половина была тесной и тёмной. Сразу от двери шли узкие сени, с земляным холодом в углах, с полками, заставленными банками и старыми коробками. Оттуда попадаешь в кухню, а дальше начинается длинный коридор, по сторонам которого располагались две комнаты. В первой спали родители, во второй — я, на раскладном диване, скрипевшем от каждого движения. Стены были оклеены жёлтыми обоями в мелкий цветочек, местами отставшими по углам. А потолок в кухне пожелтел от пара и сигаретного ды-

ма. Над плитой висела полка с кастрюлями, у окна стоял стол под клеёнкой, протёртой до белых нитей. За окном — двор, качели на старой покрышке и соседский забор, за которым по вечерам лаяла собака.

В доме пахло щами, сигаретами и зимой: мокрыми сапогами, сохнущими у порога, сырыми варежками на батарее. Зимой темнело рано, и фонарь на столбе напротив раскачивался на ветру, бросая на потолок длинные жёлтые полосы. Мама по вечерам почти всегда что-то варила. Уставшая, в стареньком переднике, она стояла над плитой и смотрела в стену, а пар от кастрюли поднимался к её лицу и оседал на щеках. Я долго думала, что она видит в этой стене что-то своё, мне недоступное. Потом поняла: она не смотрела никуда. Так ей было легче. И я потом сама научилась так же — глядеть в одну точку и не видеть ничего.

Их ссоры начинались почти каждый вечер. Я уходила в комнату и садилась на пол между кроватью и стеной. Там было узко и пыльно, приходилось прижиматься спиной к холодной стене. Сначала это были просто голоса: мама что-то тихо выговаривала, отец отвечал сквозь зубы, и оба говорили всё короче и злее. Потом они переходили на крик, и уже нельзя было разобрать, кто прав, а кто виноват. Только два голоса, которые бились друг о друга, как о стены. Иногда что-то падало и катилось по полу, хлопала дверца шкафа, мама вскрикивала — коротко, будто нечаянно, будто наступила на что-то острое. Я сидела, прижавшись к стене, и считала:

один, два, три... до ста, потом начинала заново. Не знаю, помогало ли это на самом деле. Просто в те минуты я ничего другого сделать не могла.

Про отца меня спрашивали все: подруги, психолог, однажды даже он сам. Все думали, что я его ненавидела. Нет. Я боялась. Это совершенно разные вещи, хотя со стороны их трудно отличить.

Он вырос в детдоме, о чём я узнала случайно, лет в двенадцать, подслушав чужой разговор, не предназначенный для моих ушей. Детдом в пятидесятых — это не то место, где гладят по голове. Там учили не плакать, не просить и не ждать от людей ничего хорошего. Он усвоил эти уроки намертво, до самых костей, а потом передал их мне — не специально, просто другого языка у него не было.

Я не оправдываю его. Я пытаюсь понять. Это тоже разные вещи, и мне потребовалось много лет, чтобы наконец поверить в эту разницу самой.

Первое стихотворение я написала в восемь лет. В клетчатой тетради, на последней странице, где заканчивались задачи по арифметике. Слов уже не помню. Кажется, что-то про снег за окном и про то, что никто не замечает этой красоты. Написала, перечитала, а потом вырвала страницу и выбросила в мусорное ведро. Мне казалось, что если кто-нибудь найдёт, мне будет невыносимо стыдно. За что именно — я не понимала, но это чувство жило во мне постоянно. Всё моё почему-то было стыдным.

Так я и жила: считала до ста, писала и выбрасывала, слушала шаги на крыльце.

# Глава 2. Поле

Я часто приходила на футбольное поле.

Оно было за школой, за гаражами, где кончался посёлок. Земля там была вытоптанная: летом пыльная, осенью липкая. По краям росли кусты, дальше шёл старый забор, а за ним громыхали поезда. Когда шёл товарняк, земля дрожала под ногами.

Мне было одиннадцать. После уроков я домой не спешила. Дома меня ждали вечера, полные тревоги, и я их ненавидела. Поэтому я ходила в библиотеку, долго гуляла по улицам, стояла у витрины магазина, разглядывая, что продаётся. А самым любимым местом было поле.

Там всегда кто-то играл. Мальчишки гоняли мяч, девчонки прыгали через резинку. Лучше всех умела прыгать Люба Ковалёва. Маленькая, стриженая под мальчика, вечно в чужой футболке на два размера больше, с расцарапанными коленями и сбитыми костяшками. Иногда мы играли в догоняшки. Люба бегала почти так же быстро, как я, а иногда и обгоняла. И это меня злило сильнее, чем я готова была признать.

Мы с ней садились на бревно у забора, пока ребята пили воду из одной на всех бутылки. Она рассказывала, как у них дома второй месяц чинят крышу: отец снимает лист, смотрит

на него и ставит обратно. Мы не дружили так, как дружат девочки — секретов не делили, в гости не ходили. Просто на поле всегда оказывалось, что мы стоим рядом, и молчать вдвоём было легче, чем молчать одной.

Когда я уехала, мы сначала писали друг другу — длинно, по четыре страницы, почерком, который к третьей странице разъезжался. Потом стали звонить по праздникам. Потом просто знали друг про друга: что она вышла замуж сразу после школы, родила двоих, работает в аптеке на площади и что в посёлке с тех пор не поменялось ничего, кроме вывесок. Я всё собиралась приехать: давала себе обещание выбраться на день-два, посмотреть на неё и на её мальчишек.

А однажды на поле пришли двое взрослых, которых я раньше не видела.

На поле стояли высокая женщина в спортивном костюме и невысокий мужчина с секундомером на шее. Они построили ребят и раздали деревянные биты. Игра называлась лапта. Я про неё почти ничего не знала.

Я стояла у кустов и смотрела. Женщина заметила меня и махнула рукой. Я подошла медленно, стараясь держаться подальше от всех.

— Ты чья? — спросила она.

— Из восьмого дома, — ответила я.

— Будешь играть?

Я не хотела играть. Но и уходить не хотелось. На поле было хорошо, светло, и никто не спрашивал лишнего. Я взяла

биту.

В тот первый раз я, конечно, ничего не умела. Биту держала неловко, отбить мяч не могла. А когда побежала не вовремя, Галина Ивановна коротко, без злости, остановила меня. Я смутилась, отошла в сторону и решила, что больше не приду. Но когда тренировка закончилась, Галина Ивановна сама подошла ко мне и сказала просто:

— Приходи завтра. У тебя ноги быстрые.

Я не ответила. Просто пожала плечами и ушла. А на следующий день после уроков поймала себя на мысли, что ноги сами несут меня за гаражи.

Так я и стала ходить на тренировки. Мне дали биту, потом доверили мяч. И в какой-то момент я перестала бояться, что сделаю что-то не так. На поле за ошибки не ругали, а просто показывали, как правильно.

Через месяц я уже не могла представить себе вечер без игры.

Ребят там было много, самых разных. Старшие учили младших, младшие носили мячи и биты. И никто не смотрел на тебя косо, если ты поначалу ничего не умел. Я знакомилась с ними не сразу, всё как-то по-своему, постепенно. Но на поле это было не страшно. Там не спрашивали про дом и не замечали, если ты долго молчишь.

Моими тренерами были муж и жена. Своих детей у них не было, и они вели секцию по лапте при школе. Жили через две улицы от нас. В сенях их дома стояли вёдра с мячами, на

стенах висели биты, и пахло там свежей извёсткой и сушёной травой.

Примерно через месяц я впервые осталась после тренировки помогать собирать инвентарь. Галина Ивановна ушла провожать младших, а Пётр Семёнович складывал биты в мешок. Я стояла рядом, не зная, куда деть руки. Он попросил меня подержать мешок, и за этим нехитрым делом мы разговорились. Не о доме и не обо мне — просто о погоде, о том, что поле скоро накроют дожди и придётся перебираться в спортзал.

Я набралась смелости и спросила, давно ли они тренируют ребят. Он усмехнулся, подумал и сказал: «В два раза дольше, чем ты живёшь». Я не поверила, и тогда он начал перечислять фамилии. Кто-то из них уехал в область и теперь играет за сборную, кто-то тренирует детей в соседнем районе. А двое, по его словам, «на чемпионат ездили, медали в ящике валяются». Сказал он это без хвастовства, как про обычное дело, и от этого было ещё удивительнее.

На следующий день я переспросила у старших ребят, и они подтвердили, добавив подробностей, о которых Пётр Семёнович умолчал. Оказалось, наши тренеры воспитали не одно поколение игроков, к ним приезжали из других посёлков, их знали и уважали. А сами они про это почти никогда не говорили. Мне отчего-то стало неловко за своё незнание, как будто я пришла в чужой дом и не заметила, что он построен этими людьми.

После того разговора я стала смотреть на Галину Ивановну и Петра Семёновича иначе. Раньше они были для меня просто тренерами — громкая женщина с секундомером и молчаливый мужчина с мешком бит. А теперь я видела за этим целую жизнь.

Я замечала, как Галина Ивановна, уставшая после долгой тренировки, всё равно оставалась с теми, у кого не получалось. Заставляла повторять удар двадцать раз и не отпускала, пока не выходило. А потом первой замечала, что кто-то пришёл голодный, и молча совала ему в карман яблоко.

Пётр Семёнович перед игрой тихо обходил каждого и по очереди что-то говорил — кому-то про ноги, кому-то просто «соберись». Он запоминал, у кого что болит и кто чего боится, и оказывался рядом ровно в ту минуту, когда был нужен. Но никогда не лез в душу.

Я и сама не заметила, в какой момент перестала стесняться подходить к ним с вопросами. И стала ловить себя на том, что на тренировку иду не только ради игры.

Больше всего мне нравилось бегать.

В лапте главное — вовремя побежать. Дождаться удара, увидеть, как мяч взлетает, и сорваться с места. Бежать до линии и обратно, не оглядываясь. Я бегала быстро, и это у меня получалось.

Когда я бежала, все мысли отступали. Дома я постоянно слушала, что происходит за стеной: кто как хлопнул дверью, кто каким голосом сказал. А на поле этого не было. Там были

только ветер в ушах, земля под ногами и мяч, который надо обогнать. И это «ничего» было таким легким.

В первый раз, когда я принесла очки в игре и Галина Ивановна крикнула «горячая!», мне стало хорошо. Я не поняла почему. Просто дышать стало легче.

Домой я шла медленно, в кармане держала камешек, который подобрала на поле. Дома ещё ничего не началось, но уже чувствовалось напряжение. Я прошла в свою комнату, легла и зажала этот камешек в кулаке.

Я не слушала, что происходит за стеной. Я думала про лапту. Про то, как завтра снова пойду туда, снова возьму биту, снова побегу.

Это была простая мысль, но она оказалась сильнее страха. Тогда я этого ещё не понимала. Просто впервые в жизни у меня появилось место, куда хотелось идти. И этим местом был не дом.

Так я нашла этих людей. Тогда я ещё не знала, какую роль они сыграют в моей жизни. Не догадывалась, что Галина Ивановна однажды поедет со мной в областной центр поступать в институт, потому что родителям будет не до этого. Не знала, что эти двое дадут мне то, чего у меня никогда не было. Я просто ходила на поле, и мне там было хорошо.

# Глава 3. Ветровка

Случилось это на соревнованиях.

Осень тогда выдалась сухая, и районный турнир по лапте назначили на последний тёплый день. Мы приехали в соседний посёлок на стареньком автобусе. Всё утро я не могла понять, что со мной не так: живот тянуло, ныла спина. И казалось, что вокруг смотрят только на меня, хотя на самом деле все смотрели на поле, где уже шла разминка.

Я отыграла первый тайм. Бегала, била, ловила мяч, но всё время держала спину так, будто за мной кто-то стоит. В перерыве я пошла в раздевалку и увидела, что белые шорты испачканы. Совсем немного, с внутренней стороны, но мне хватило.

Я села на скамейку, прижала к животу сумку и поняла, что не выйду отсюда ни за что.

За дверью кричали, звали, кто-то стучал. Голоса то приближались, то удалялись, и в промежутках было слышно, как в дальнем конце коридора капает вода из крана. Я сидела и не отвечала. Мне казалось, что если я выйду, то все сразу поймут, что со мной. И будут смеяться. А потом расскажут дома. И родители узнают. И тогда случится что-то такое, после чего я больше не смогу жить на свете. Я не понимала, что именно, но страх был огромный, как вся эта раздевалка

с её эхом и чужими голосами.

Я сидела так долго, что перестала различать, сколько прошло времени — минуты или часы. Руки у меня замёрзли, хотя в раздевалке было душно. Где-то за стеной снова закричали: «Горячая!» — второй тайм начался без меня.

Потом стало тихо. И в этой тишине я услышала шаги. Неторопливые, ровные, спокойные, будто человек шёл не за мной, а просто по своим делам. Шаги прекратились у двери, и я вся сжалась так же, как сжималась дома, когда гравий на дорожке за окном начинал хрустеть.

Щёлкнула ручка. Я вжалась в скамейку и закрыла глаза.

Как бы я ни надеялась, что меня оставят в покое, Галина Ивановна вошла без стука, аккуратно прикрыв за собой дверь.

— Так, — сказала она тихо. Я услышала, как скрипнула скамейка, когда она села рядом. — Ну, как ты?

Она забрала у меня сумку, которую я всё ещё прижимала к себе, и, наверное, заметила испачканные шорты. Галина Ивановна сняла свою ветровку и протянула мне. Я взяла её, потому что не знала, что ещё делать. Ветровка была тяжёлая, тёплая, пахла полынью и чем-то ещё, похожим на её духи.

— Это случается, — сказала она. — У каждой. У меня тоже. Ничего страшного.

Я молчала. В горле стоял ком, и я боялась, что если открою рот, то расплачусь.

— Ты испугалась, — продолжала она. — Это нормально.

Когда это в первый раз, всегда кажется, что ты одна такая на всём белом свете.

Я всё-таки заплакала. Тихо, сжав зубы, но она заметила. Положила руку мне на плечо и не убирала, пока я не перестала вздрагивать. Ладонь у неё была тёплая и сухая, и мне стало немного легче.

— Никто ничего не узнает, — сказала она. — Сейчас приведёшь себя в порядок, наденешь мою ветровку. Скажешь, что озябла. Никто и не посмотрит.

Я кивнула, хотя не поверила. Но когда я вышла из раздевалки в её ветровке — она была мне до колен — и вернулась к команде, на меня действительно никто не посмотрел. Пётр Семёнович только махнул рукой, мол, вставай с командой. И всё.

Я просидела на скамейке запасных до конца игры. Держала руки в карманах чужой ветровки и смотрела, как наши проигрывают, потому что без меня на второй линии некому было бегать. Девочки вышли с поля злые, кто-то плакал. Мне было грустно и стыдно — не за то, что со мной случилось, а за то, что я не смогла им помочь. Тогда я ещё не умела различать эти два чувства, и оба лежали на мне одинаково тяжело.

После игры Галина Ивановна подошла ко мне, когда мы грузили сумки в автобус.

— Тебе надо с кем-то поговорить, — сказала она, глядя не на меня, а на поле, которое уже накрывали сумерки. —

Не обязательно со мной. Но не держи всё в себе.

Я стояла и ковыряла носком землю.

— Я не знаю, как это объяснить, — растерянно произнесла я.

— А ты не объясняй. Просто начни. Скажи одно слово. Что ты сейчас чувствуешь?

— Стыдно, — выговорила я и удивилась, что это слово вышло так легко, будто оно всё это время ждало, когда я его произнесу.

Галина Ивановна кивнула.

— Это пройдёт. Не за один день. Но пройдёт, если ты не будешь запирать это внутри, как зверя в клетке.

Она стояла рядом со мной. И я не чувствовала себя неловко. Может, потому что темнело, и нас почти не было видно.

— У тебя дома кто-нибудь с тобой об этом говорил? — спросила она.

Я покачала головой.

— Ну вот, — сказала она. — Значит, тебе вдвойне тяжелее. Ты всё узнаёшь одна, и тебе кажется, что ты делаешь что-то запретное.

Я не ответила, но внутри у меня всё сжалось. Это было именно то, в чём я боялась признаться самой себе.

— Твоё тело принадлежит только тебе, Вера, — сказала она. — То, что с ним происходит, — это не стыдно.

Я запомнила эти слова на всю жизнь, не поверив в них сразу — на это понадобились годы. Но они остались во мне,

как тот самый камешек, который я когда-то подобрала на поле: маленький, тёплый, и его можно было сжимать в кулаке, когда становилось совсем плохо.

В автобусе мы ехали последними. Тренер усадила меня у окна и села рядом, заслонив от остальных плечом. Девочки за спиной играли в города и хохотали так, что дребезжало стекло. Никто не оборачивался. Я смотрела в тёмное окно, где вместо улиц плыли одни фонари, и прятала руки в карманах чужой ветровки.

Я так и приехала домой в этой ветровке. И потом долго не решалась её вернуть. Потому что вернуть — значило признать, что тот день закончился. А я хотела сохранить хоть что-то хорошее и тёплое от него. А шорты в ту же ночь пришлось застирывать в холодной воде, пока родители спали.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.